

Мечом, рублем и крестом

„Гуляй, Волга“ АРТЕМА ВЕСЕЛОГО

Важнейшим достоинством романа Артема Веселого является то, что в нем правильно вскрыт классовый смысл движения ватаги Ермака. Ермак — агент торгового капитала, орудие в руках купцов-колонизаторов. Вот, коротко говоря, о чем повествует «Гуляй, Волга».

Казаки хорошо служили у купцов Строгановых и, как иронически говорит А. Веселый, «показывали свою казачью правду». Усмирили черемисов и башкир, сгоняли с дедовых стойбищ татар и остяков, очищая Строгановым землю для «соляного и пашенного дела».

Убедительно обрисовывает А. Веселый роль Строгановых в организации сибирского похода. Купеческая инициатива, купеческое руководство, купеческое снаряжение вплоть до «хоругви святой да иконы Микола-Мржая». Для Строгановых отправка казаков в Сибирь была чисто коммерческим делом. Так легендарная фигура Ермака приобретает очертания добросовестного исполнителя воли торгового капитала. «Русь ходила на Сибирь с мечом, рублем и крестом», — в этой формуле А. Веселого выражено существо сибирского похода. В романе это не только формула. Сила купеческого рубля, направляющая колонизаторский меч, осененный миссионерским крестом, физически ощутима в картинах разгрома народов Сибири казаками.

В наши дни, когда мы в товарищеском содружестве всех народов Союза строим социализм, когда в результате этого строительства нового общественного уклада подымается благосостояние всех трудящихся, — в эти дни полезно оглянуться в прошлое, полезно вспомнить, как в недрах феодализма торговый капитал расчищал почву для капиталистического общества, как в грабежах, крови и насилиях шло первоначальное капиталистическое накопление, как во имя создания призывлей уничтожались, придавливались к земле целые народы.

В этом сопоставлении, которое сделает каждый читатель, основная положительная ценность исторического романа А. Веселого.

Находясь товарищи, утверждающие, что, роясь в скудных исторических материалах о завоевании Сибири, А. Веселый ограничился только пересказом их, повторил старые схемы русской истории, тем самым обесценив всю свою работу. Такой взгляд высказал, например, О. Брик на одной дискуссии о «Гуляй, Волга».

Известно, каковы старые исторические концепции об образовании Московского государства, о расширении его границ на юге и востоке. В буржуазной и помещичьей литературе распространена была теория о том, что якобы «борьба со степью», оборона от кочевников выковала русское государство. Может быть, таким образом и объясняет А. Веселый превращение Сибири в колонию? Может быть, он видит в этом факте «естественное расселение русского племени», не связанное ни с какими кровавыми ужасами колонизаторской политики той эпохи? *Может быть, он усматривает в движении «Ермака с товарищи» в Сибирь исключительно вольную колонизацию, совершавшуюся по доброй воле Ермака, не связанную с интересами государства и торгового капитала? Может быть, воспевает он, наконец, высокие цели христианского просвещения русскими войсками отсталых невежественных «инородцев»?

Если б это мы увидели в «Гуляй, Волга», мы действительно могли бы сказать, что Веселый только повторил старые исторические концепции и создал вещь, не имеющую никакой ценности. Это, конечно, не так. В основных решающих пунктах «Гуляй, Волга» совпадает с марксистской схемой русской истории, выдвинутой Лениным, развитой в труде М. Н. Покровского.

Важны именно основные, решающие пункты. А. Веселый писал не исторический трактат, а художественное произведение, и то, что он

уловил дух эпохи, вскрыл пружины событий, описанных в романе, взглянул на них глазами широких трудящихся масс — составляет несомненную его заслугу.

Было бы полезно, конечно, если бы наши историки и этнографы проанализировали роман со своих точек зрения. Историки, вероятно, указали бы ряд спорных моментов. Бросается в глаза, например, в самом начале романа наивная, если не сказать больше, трактовка «опричинны». Ограничиться в объяснении террора тем, что «возненавидя грады», «в исступлении ума» крушили их, — значит остаться на уровне поверхностного летописца тех времен. Здесь не самодурство царя, а борьба классов: дворянство и купечество против бояр и сил, поддерживавших старый порядок (монастыри и пр.). Потеря значения боярской думы, истребление ряда боярских семей, разграбление помещиками боярских вотчин — все это сложнее, чем просто сказать: «Крушил города, жег деревни».

Сомнителен в некоторых пунктах довольно-таки поверхностный и упрощенный показ сибирских народов. Они даны, главным образом, как находившиеся в диком, зверском, животном состоянии. Несомненно, в их быту можно было бы вскрыть остатки коммунистического товарищества, которые вскрывает, например, А. Фадеев в «Последнем из удэгов».

Кое в чем А. Веселый, очевидно, не поднялся здесь над летописями и легендами о покорении сибирских варваров. Влиятельные летописцы сказались и в другом отношении. Порою сибирские туземцы начинают говорить в романе прямо-таки языком какого-то летописца-дьячка XVI века.

Если говорить о языке романа в целом, то нельзя не отметить его своеобразия. А. Веселый взял правильный курс на сохранение колорита эпохи не только в передаче текста или иных ситуаций, стычек, боев, не только в обрисовке снаряжения, бытовых вещей, костюмов и пр., но и в языке героев.



АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Пушкин в «Борисе Годунове» отразил события, отделенные всего двадцатью годами от сибирского похода Ермака, отразил, кстати говоря, и уровень исторической науки в начале прошлого века, и ее классовые цели. Как он подходил к передаче языка эпохи? Пушкин признавался, что он «В летописях старался угадать образ мысли и язык тогдашнего времени». Но он не попал в плен летописям, язык его трагедии отнюдь не является рабским следованием языку летописей; Пушкин дал высокого качества сплав языка девятнадцатого и семнадцатого веков, создающий ощущение подлинно русской речи, которой так восторгался, говоря о трагедии, Белинский.

Насколько можно судить без детального анализа языка романа, А. Веселый шел путем Пушкина: стремясь угадать язык эпохи в летописях и др. документах, он остерегался слепой зависимости от них. Дело осложнялось для А. Веселого тем, что летописи не могли ему быть хорошими помощниками в передаче живого языка массы, а именно масса, выступающая лишь в отдельных сценах «Бориса Годунова», находится в центре внимания «Гуляй, Волга». Подлинный демократизм творчества А. Веселого, замечательное знание им языка масс, участвующих в нашей революции, и понимание духа XVI века, умение создать сплав речи двух разных эпох — вот где секрет того, что там, где масса в «Гуляй, Волга» митингует, решает вопросы, пирует, дерется, воюет, говор ее правдиво

и убедительно звучит со страниц романа.

Если же от диалога массы перейти к языку повествования, идущего от имени автора, то здесь нас прежде всего поразит любопытное сочетание различного строя речи.

Здесь и простой, без мудрствований, прозрачный литературный язык наших дней, с сохранением только самых необходимых терминов эпохи Ермака. Здесь же, зачастую на этой же странице, явное влияние стиля летописи:

«Печалился царь Иван о неустройности царства своего и все придумывал, как бы сотворить земле русской приращение»... и т. д.

Тут и стиль народного сказа: «Врал Куземка, аж земля под ним зыблилась, врал — сам себя не видел»... и т. д. Тут, наконец, и явный лубок: «Царь за всех думал, князья и люди ратные воевали, а мужики пашню пахали, траву косили и всякие дела делали, — истари крепка стоит Русь горбами мужичьями».

Оправданы ли эти различные стилиевые струи в повествовании, объяснительна ли подобная разноголосица? Нам думается, что свидетельствует это не столько о высоком мастерстве А. Веселого и продуманном изменении в тех или иных местах ритма и словарного состава, сколько о поисках, опытах автора, еще не до конца определившего стиль всей своей вещи.

Наконец следует отметить опыты словотворчества А. Веселого в духе В. Хлебникова: «Степь-весенница», «тюрьмари» (колодники), «прощатан и землепроходцы» (присельцы-колонизаторы), «разунайщики», «размир» (ссора), «храбрачи», «дивеса» («дивеса джигитовки»), «смелачи», «прошляк» (историк), «многоумный читак» (иронически — читатель) и др. Некоторые из этих слов удачно вкраплены в повествование.

А. Веселый признавал в печати свою ученическую зависимость от Хлебникова: «Его (Хлебникова) мастерской и творческой работе над словом я чрезвычайно многим обязан и в своей литературной работе». Не случайно тяготение А. Веселого к Хлебникову и в начале писательской работы к Лефу, не случайно этокое нигилистическое сбрасывание со счетов искусства Феде-

ева и Леонова (это, дескать, «не искусство, а добросовестные упражнения в чистописании», не случайно кстати и то, что, высказываясь в печати о драматургии А. Веселый, умалчивая о Шекспире, признавал, что он «всегда высоко ценил французских классиков, в особенности Мольера и трагиков XVII столетия Расина и Корнеля». Симпатии именно к этим трем именам весьма симптоматичны для определения творческих позиций А. Веселого.

Полезно здесь привести весьма злободневные суждения А. С. Пушкина о Мольере и Шекспире: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой — скуп — и только; у Шекспира Шейлок — скуп, сметлив, истителен, чадолюбив и остроумен».

Отталкиваясь от Мольера, Пушкин отталкивался и от Расина: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина».

Можно было бы подумать, что А. Веселый не достигает индивидуализации героев, создания «многосложных характеров», вследствие недостаточно еще высокого уровня мастерства. Но гораздо вернее объяснить это именно осознанными творческими позициями автора, его «мольеризмом» в противовес «шекспиризму».

Ермак у А. Веселого не раскрыт как характер, «как существо живое, исполненное многих страстей». Как тип завоевателя он однолинеен, однотонен, беден индивидуальными чертами, нам неизвестно многое в нем. То же можно сказать и об Иване Кольцо, Мамыке, Мещеряке, Никите Пане и других товарищах Ермака.

Мы узнаем, что отдельные реплики в толпе казаков произносят: Осташка Лаврентьев, Яшка Брень, Заруба, Игренька, Бусыга, Елисей Кручина, Иван Задня Улица, Панкрашка Лоскут, Фока Волкорез. О многих других колоритных прозвищах узнаем мы в романе, но что за люди имеют эти прозвища и чем кроме них отличаются друг от друга, остается тайной автора. Во всяком случае любые их реплики могут быть без ущерба переданы

друг другу. Я говорю, что там, где масса выступает вместе, ее слитный говор звучит правдиво и убедительно. Именно так мы ощущали бы ватагу Ермака, если бы впервые в жизни приехали на ее сход, никого не зная из этой ватаги. Но ведь А. Веселый ведет за собой читателя по всему маршруту Ермака — от Дона до Иртыша, в течение трех лет похода знакомит читателя с ватагой. И тем не менее от казацкой массы остается впечатлительное смутное хаотическое пятно, в котором только еле уловимо мелькают иногда живые лица.

Насколько глубже было бы познавательное значение романа, если бы автор стремился преодолеть обезличку, присущую и произведениям, написанным до «Гуляй, Волга»! Остается только пожалеть, что недостаток старых своих вещей А. Веселый возводит в творческий принцип.

В заключение следует ответить на вопрос: почему именно Ермак привлёк внимание А. Веселого? Возможно, что здесь сказалась особый интерес автора к «гулевой вольнице», к неудержимому стихийному буйству партизанщины. Автор пишет в конце романа: «Зачатки осознания себя как класса широкими низами крестьянства и гулевого казачества следует относить к временам Пугачова и Разина. В шестнадцатом же веке и ранее, если говорить без натяжки, повольники являлись буйствующей слепой силой — доказательств тому в истории предостаточно». Возможно, что это не совсем точное представление о ватаге Ермака как о «буйствующей слепой силе» и определило как особый интерес А. Веселого к Ермаку, так и первоначальный замысел романа. Не случайно назвал он «Гуляй, Волга», не случайно дан подзаголовок «Разнослову первому»: «Отвага мед пьет и кандалы трет», и не потому ли с особой любовью выписаны именно картины разгула вольницы, ее неудержимой отваги.

Каковы бы ни были субъективные намерения автора он, стремясь к исторически правдивому изображению событий, показал нам, что казацкая «вольница» была мнимой вольницей, что на деле она была орудием в других руках, что организующая рука купечества направляла действия «буйствующей слепой силы».

¹ См. газ. «Советское искусство», № 5 от 26 янв. 1933 г., А. Веселый «Голос начинающего».